

Евгений Кулькин

МАНИЯ

Трилогия



Книга первая

МАГИЯ, ИЛИ КАЗЕННЫЙ СОН



Волгоград
2017

ПРОЛОГ

До недавних пор я не то что не верил, а не придавал значения знаковости. Хотя несколько раз убеждался, что она меня зело преследует и даже порой пагубно требует, чтобы обратил на нее если не пристальное, то хотя бы беглое внимание.

И на этот раз все сложилось так, что я мог бы не заметить указующего перста, не подкатись к моим ногам пишущая ручка.

А подкатилась она, влекомая ветром, под самую стопу. И — хрупни я ею секундой позже или сунь не глядя ее в карман, не случилось бы того, что произошло чуть позже.

Я поднял ручку и стал размышлять: зачем она, собственно, возникла на моем пути? Что должна обозначать ее вертлявая элегантность? Потому как она была далеко не рядовой ручкой. И уж коль она оказалась в моих руках, то не высший ли разум подталкивает, чтобы я именно ею написал что-то ежели не великое, то уж наверняка значительное.

И поскольку в моей душе зароились какие-то чувства, я, за неимением бумаги в кармане, стал искать среди взметных тем же ветром хоть какой линиялый кусочек, чтобы записать первую, евшую сердце строку.

И опять ко мне подпорхнул листок, причем с одной стороны совершенно чистый. И его я приобщил к своим находкам. И когда уже написал то, что думал, машинально повернул другой стороной и увидел там, наверно, конец письма: «Возлюбить ближнего, как самого себя? Чушь собачья! Это только может позволить себе кристальная глупость.

Не горюй и не расслабляйся!

Твой Ман И. Я. (Израиль Яковлевич)» — приписано другим почерком.

Ман? Ман?

Где я уже встречал эту фамилию?

Ага, вспомнил! Ею обладал, по-моему, в бытность, когда я обрелся на югах, капитан «Советской России».

Я еще раз поглядел на фамилию и инициалы неведомого мне Израиля Яковлевича, и вдруг дрожь прошла где-то внутри. Какое-то сотрясение пережил организм.

Что же мне увиделось?

Ах, Мания! Вот что!

Кулькин, Е. А.
К90 Мания [Текст]: трилогия / Евгений Кулькин. — Волгоград: Издатель, 2017. — Т. 1. Магия, или Казенный сон. — 2017. — 360 с.

© ГБУК «Издатель», оформление, 2017
© Кулькин Е. А., 2017

И разом пришло на память, что кто-то говорил: «манн» — это в переводе «человек». И еще — И. Я. Значит, выходит: «Человек и я»? Какой-то знак!

Да какой, м а н и я — разве это не знак? Не печать ли времени такое медицинское слово?

У одних возникла мания, что они сделают всех людей равными и безбедными. Других стала преследовать мания величия, у третьих — мания преследования.

Так вот они — «мертвые души» нашего времени!
Воздадим же им должное, как они того заслуживают!
Аминь!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Под самую святую, масляной зарей, тишком ушел от Алевтины Мяжниковой муж. Он не объяснял, почему это делает, зачем ее покидает, утлепал, и все.

Но ежели бы он, скажем, устроился к кому-либо на квартиру или — того проще — вселился бы в общагу, долго бы о нем думали, что допекла его Алевтина, и был бы он, так сказать, стороной пострадавшей от супружнического произвола.

Но ейный муж — прямиком, как сорока летает, — направился к Матрене Крикляковой — бабе взглядной, сорно любящей кого попало и на этой почве притабунившей себе четверых ребяток.

Алевтина делала вид, что ничего такого не произошло. Гордо ходила по поселку со вскинутыми грудями и не отводила глаз, когда на нее смотрели слишком пристально.

Мужа Алевтины — теперь бывшего — звали Максимом, потому местные рифмоплеты немедленно складовину выпулили: «Ушел Максим, ну и хрен с ним!» А на фамилию супруга Мяжниковой Чемоданов полупрозой так выразились: «Она к нему со своей межой, а он — хватить пай чужой — и зачемоданил к Мотьке — бабе хотьке».

Не все у Максима Петровича ладилось и с работой. Только где по настоящему угреется, как его обязательно под какое-нибудь сокращение подведут.

И вот что удивительно, все снятия он воспринимал спокойно. С улыбкой сдавал дела, аккуратно — в последний раз — расписывался в ведомости и отбывал к новому назначению с облегченным почтением к прежней работе, никого не виня, ни хая, не раскаиваясь в том, что так произошло.

Бухгалтером он был въедливым, как червяк, буравящий яблоко. Не было видно его усилий, хотя в любой момент каждому, кто бы ни

возжелал, он приводил, сведенным как у девственницы, дебет с кредитом и этим самым давал понять, что у него все в ажуре и порядке.

И вот теперь помаркой его судьбы был только один факт, что он ушел от Алевтины к другой.

И неожиданно вспомнилось, что в свое время Максим и у Мяжниковой появился внезапно. Аккурат была мятежная весна. Но никто никого не убивал, разнузданно буйствовала природа. Сперва, задолго до того, как вскрылась река, разыгралось половодье. А в один из вечеров, когда луна еще не взошла, но уже оплодотворила край неба тихим рдельным отсветом, унылый март подтвердил, как писали в газете, опасность морального кризиса. У колхозной кассы кто-то из своих, поскольку река отсекала всех прочих своим буйством, позылчил почти миллион рублей.

У развязки дорог, чем-то напоминающей небрежно брошенные ножницы, первым был задержан Григорий Фельд. Он был секретарем редакции в соседнем селе и сюда навещался к своей полубовнице — Фроське Мамоновой, которая работала счетоводом в бухгалтерии, которая теперь, почти в полном составе, стояла на козанках.

И в общем, Гришу — цоп-царап.

При нем нашли гранки будущей газеты. Были они усыпаны козявками правок. Но денег обнаружено не было.

И по поводу своего задержания он напишет через неделю, укорив тех, кто это учинил, что вернуть достоинство так же трудно, как невозможно вернуть целомудрие давшей себя объегорить девке.

И тогда деньги, неожиданно для всех, нашел прищляк Максим Чемоданов. Обнаружил он их в лесу, ссыпанными в мешок из-под ядохимикатов, и потому всех, кто их в разное время получал, преследовал, как кто-то пошутил, «дух капитализма». Потому, когда встречались два собутельника и один из них клялся, что у него денег нет, другой, не веря на слово, по старой памяти не облапывал его по заначкам, а принимался к карманам. И коли улавливал ту самую ядовитинку, которой были помечены деньги, говорил:

— А ну признавайся, куда ты их дел?

И тут же — опять по запаху — находил, в каком укромном месте они у того лежали.

А Чемоданова немедленно назначили главным бухгалтером, изгнав прежнего ротозея, тем более стало известно, что к нему давно, как кошка, ластится молодая жена председателя Клавдия, так усорившая всем глаза, что ее были готовы лепить к любому, кто появлялся на горизонте.

Сам же пред Кирилл Карпович Гнездухин был не сказать что уж очень почтительным человеком, скорее, наоборот. Сговорчивым он был с начальством, которое навещалось сюда довольно часто по той причине, что тут пролегал, по чьему-то точному определению,

«икряная жила», и всякого, кто приезжал в Волгоград из Москвы или других более высоких мест, да хоть из-за границы, везли именно сюда, чтобы тут попотчевать до отвала тем, что везде подается в величайшей скудности.

Так вот с начальством Гнездухин вел себя сносно, хотя, коли при-смотреться, и вежливость в его исполнении была мерзка. Сам вроде весь извивом исходит, а глаза холодно-злые, придушенные неприязнью.

Всю жизнь Кирилл кому-нибудь завидовал. Причем зависть у него была даже невещественна, что ли. Например, он завидовал, что над соседними полями шел дождь.

— Везет же идиотам! — говорил он, почему-то все расширяя и расширяя географию своей неприязни.

Клавку он тоже обратал из-за зависти. Приехал как-то к ним в колхоз председатель из дальнего степного района, где если что в изобилии водится, так это сорняки на полях. Так вот тот самый пристаралец привез с собой жену, что была вдвое его моложе.

Засвербело у Гнездухина внутри, и как только запахнулась за гостем дверь, стал он думать, кого же ему в супружницы себе выбрать, потому как почти пять лет бобылевал, как он выражался, «просватав» свою Богом данную за «Казанский университет». Словом, пожелала она окончить аспирантуру, а после, когда пообтесалась среди нормальных людей, поняла, что жила не с тем, кто ей пара. И однажды приехала и все ему это высказала.

А Кирилл тем временем уже как-то привык к своему летучему положению: то там укусит, то тут урвет. И уже в колхозе бегало с десятком ребятшек, похожих на него.

Потому как-то все попривыкли к мысли, что — по жожалому промыслу — после колхозного бугая, председатель идет вторым.

И вот тут-то и приехал тот самый степняк и всадил ему в сердце занозу зависти. И стал Кирилл приглядываться к молодым колхозным девкам. А один раз сказал директрисе школы Агнессе Львовне:

— Ты бы меня пригласила как-нибудь с лекцией.

Директриса, конечно, знала, что у преда та лекция, что «с пэрэда», так местные хохлушки шутили, потому безошибочно поняла, что ему надо. И Клавку Сигову, когда он пришел, с последней парты пересадила на первую.

Кирилл Карпович стал рассказывать о том, как хороша жизнь в колхозе, каким он руководит, можно сказать, вдохновенно.

— Все сказы хороши, когда за ними стоит достаток. Вот это я иду по городу, а мне навстречу стая девчат. Да все такие нарядные, красивые, прямо загляденье. Присмотрелся, а это наши! Доярки с первой фермы. В полном составе в цирк ездили. Я их спрашиваю: «Ну что, может, навсегда тут останетесь? И театр рядом, и концерт под боком, и все магазины, рты разинув, на вас глядят?» А они мне в ответ: «Нет

уж, хоть и Яр у нас, но Светлый. Ближе к нашему будущему». Вот так вот! Молодые, а понимают.

Точал свои речи председатель, а глаз, как и ожидала Агнесса Львовна, с Клавдии Сиговой не сводил. И когда лекция в его исполнении была закончена, напрямик спросил:

— Сколько ей еще учиться?

— Да вообще-то она у нас вечная второгодница, — на всякий случай предупредила директриса, дабы дать возможность возгоревшемуся жениху понять, что станет полной противоположностью его прежней, ученой жены. — Но коли постараться, можно ее и в этом году выпустить.

— Ну давай, — одобрил ускорение председатель и ввернул явно откуда-то вычитанное: — Пора пожить в согласии с собой!

А осенью он, как и полагалось в старину, заслал сватов. И главным из них был его новый бухгалтер Степан Шарый. И послал его туда лишь только потому, что тот был парнем высоким, статным, не таким корявым, как сам жених. С ним в паре шел главный добытчик икры Веденей Тригонос. В армии он служил водолазом, потому не боялся ни глубины, ни холода. В любое время года добывал осетров в нужном количестве.

Пришли эти двое к Сиговым, дарами родителей осыпали, невесту словами, припасенными на этот случай, заморочили и чуть было все дело не сорвали.

Степан такую прибаутину выпулил:

Наш жених настолько лих,
Не останьтесь при своих!

— Ну а кто из вас тот самый сокол? — спросил старый Сиг.

— Да вон, — указали они, — на пригорке из грязи винегрет вымешивает!

Как увидел его отец, и уперся рогами в землю.

— В позор хотите ввести? — взревел. — Он же на десять лет меня старше. А я ему — дочь...

Но тут жена вошла.

— Сигай не сигай, — сказала, — а дочку отдай! Ведь он нам житья не даст.

Так Клавка стала председательшей.

В правлении придумал он ей дипломатическую должность — стала она быть привечательницей, что ли. Всех, кто приезжал, своим вниманием потчевать. Сперва у нее это не очень получалось, потом поднаторела. И порой муж, возражающим жестом остановив ее красноречье, говорил:

— Ты уж там не переугождай. Чтобы я за простака не сошел.

А однажды он заметил возле нее ее одноклассника — пучеглазого пацана, который, кажется, еще вчера сопли грабаркой отчерпывал. И вот идут они, как пьяные, из стороны в сторону покачиваются. То он

к ней прильнуть норовит, она, отдавленная этим порывом, в сторону уклонится, то она вроде бы ненароком к его плечу голову уронит.

А за ними — из машины — зорко следит Кирилл Карпович. И не ревность в его душе коренья сплетает, а что-то более буйное, близкое к помешательству. Вот сейчас, решает он, ежели она еще раз к нему помешательству. Вот сейчас, решает он, ежели она еще раз к нему похилится, сшибет он их обоих своим «козлом», чтобы на этом позор и иссяк.

Выпростал он руку из перчатки, опустил ее на землю, льдинку с дороги подцепил, чтобы хоть ею, но охладить жар, которым весь пышел. Понял сразу уменьшившуюся на его ладони льдинку. И вдруг увидел, как Клавка со всего маху звездорезнула пацанишку по уху. А вприбавок к подзатыльнику дала еще и пендаля — толкотно подфутболила под зад.

И только тогда Гнездухин расслабился. Мокрой рукой вытер себе лицо и подумал, что, видимо, унижаемая не столько позорными словами, но и жестами, которыми пацан их сопровождал, и «отоварила» она его по первое число.

И он почти блаженно улыбнулся, произнеся вслух:

— Вот так у нас: досыта и — без объявления войны!

Больше всего на свете Гнездухина пугали две вещи — измена жены и бессмысленность дела, которому он если не отдал жизнь, то отрядил свои лучшие, лишённые беспамятства годы.

Ведь только последнее время, после бегства первой жены, он сколько-то встрепенулся и преобразил как самого себя, так и все, что его окружало, во что-то добропорядочное и даже стильное. А то у него был самый унылый двор, унылые ставни на окнах домишки, унылая одежда, и даже пища, которую он содержал для повседневного потребления, была унылой.

Его не радовало, что иногда Бог давал урожая, и на груди взблескивала очередная награда. Так, чуть-чуть какое-то шевеление в душе обозначалось, и — не более.

Но однажды — с делегацией — побывал он на Кубани. И там в одном зачуханном колхозишке увидел — кто бы мог подумать! — полный, как в городе, оркестр. Оркестр тот был разномастным. И не только по белесости или чернявости музыкантов, по непохожести их лиц, но и инструменты отличались друг от друга именно цветом. Альтовая труба была никелированной, бас, как и полагается, отливал солидной медью, а вот тенор, так тот был в защитной одежде, словно, коль его от нее освободить, любой мог о него попортить зрение.

Среди музыкантов особой ухваткой отличался Гера Клек — чернявенький, плюгавого вида горбоносик, который все время был на виду, как будто на обметанную воробьями ветлицу кто-то в одно и то же место тонкой струйкой лил кипяток. И тот полошил именно этого куцега воробьенка.

Гера то колотил в тугой — с раструбами — барабан, то добавочно подгуживал на какой-то недоразвитой трубешке, а иной раз принимался дуть в свирель, а то ухал в утробину, и создавалось впечатление, что в теснинах леса, который, кстати, был рядом, припадочно заходится голосом филин.

Услыхал Гнездухин тот оркестр, увидел вихлеватого Герку, и душа у него сразу же разболелась. Именно этого не хватает ему до полной вольготы. Приедет вот так патентованное начальство, а он ему — какой-нибудь маршишко или вальсон заделает, что у того слюни со слезами смешаются. Тогда и проси что хочешь — не откажет.

Потому водил его председатель по мастерским, по коровникам и птичникам, даже мини-завод показал, а у Кирилла Карповича — одна думка, как же про оркестр выведать да Герку перемануть.

И на откормочном базу, где евские, а может, только обгубливавшие, початки, коровы, сполошенно дрогнули и взметнули вверх рога, увидев посторонних, и задал Гнездухин преду такой вопрос:

— Не накладно оркестр-то держать?

— А чего, — словоохотливо ответил тот. — Он себя, считай, окупает.

— Каким же образом?

— А жмурики, они, брат, череды не знают, мрут себе потихоньку. И родичам, конечно, хочется познатней их в землю спровадить. И вот бегут ко мне: «Дай оркестришко!» К другому бы обратились, да лабухи-то только у меня.

Тогда Гнездухин впервые услышал, что музыкантов, помимо всего прочего, зовут и «лабухами».

— Ну и я — похоронителям — счет, — продолжил председатель. — Все законно и по совести. И вот так — и ни на ноту иначе.

Целую ночь провел тогда в бессонье Кирилл Карпович. А утром — с ранья — вышел на баз — помокрело. Нет, дождь не шел, и тумана не было в помине. Это упала такая густая, шубой покрывшая траву роса.

Смотрит, народ коров на выгон торопит. Ну и он туда себя застремил. Может, там Герку увидит и без свидетелей переговорит с ним. Авось, клюнет он на вольную икру и на шалую игру.

И не ошибся. Вернее, наоборот, ошибся. Герки на выгоне не было. Он встретил его, когда в обратный путь оттуда ринулся. Глядит, а тот — во дворишке — с плетешком с вершок — на голове стоит.

Подумал: довольно странная причина с утра голову к земле примерять. Это обычно вечером случается, когда — от перебору — ее грохнутя тянет. А тут — ни свет ни заря, а он уже на взводе и в прострации.

Остановился у того дворишки Гнездухин, глядит, как Герка вверх-торманно на него почти не мигая пялится, и спрашивает:

— Это что, тоже музыкальное упражнение?

Герка — в один мах — поменял позу и, как все грешные на этой земле, оказался на ногах.

— У нас, — сказал, — сперва о «здрасьте» лоб бьют, а потом о здоровье спрашивают.

— Привет! — протянул ему Гнездухин руку.

Тот пожал ее холодной липкостью своих пальцев.

— Вопрос к тебе имею, — как можно солиднее начал Кирилл Карпович.

— Вопрос — не понос, можно и в себе удержать, — быстро ответил Герка, уже осущенный какой-то своей новой заботой.

И точно. На этот раз он вздрючил вверх ногу и положил ее на плечо Гнездухина.

— Так что за вопрос? — поинтересовался.

— Дудки, в какие ты свою утробу выворачиваешь, дорого стоят?

— Что? Завидки взяли? — вместо ответа, полюбопытствовал лабух.

— Не сказать что совсем, но в каком-то смысле да.

— Это у нас не инструменты, а шваль лежала! Трубу взяли из Дома пионеров, — стал загибать пальцы Герка, — алыт — у пенсионеров. Нет, ты не подумай, что у нас где-то еще оркестр в районе есть. Все то бросовое, то дареное, то украденное.

— Неужто барабан где позычил? — спросил Гнездухин.

— Именно его в соседнем районе украсть пришлось. Ведь на всю округу никто и ноты обронить не умеет. Я тут специалист один-раз-единственный и, можно сказать, неповторимый.

— Это ты правду говоришь, — подхватил Кирилл Карпович, поняв, что Герка не прочь прихвастнуть. — Я вчера поглядел на тебя и сразу определил — знатный ты лабух!

И, стараясь не сбиться со взятого им тона, Гнездухин продолжил:

— Потому мысль мне стопу жать стала...

Герка хмыкнул.

— А ты хоть и степняк, а юморист!

— У нас все такие! — гордо ответил Кирилл Карпович. — Потому как рядом крупность огромная находится. А разве возле нее можно быть мельче, чем есть?

— Что за крупность? — поинтересовался Герка, поменяв на плече Гнездухина ноги.

— Волга! Ух и широченная она у нас! Ежели тойный берег и виден, только в бинокль!

Захохотал Герка так, что нога чуть не свалилась с плеча преда.

— А ты знаешь, — произнес, — я коренной камышанин!

— Да не может быть! — Гнездухин сбросил ногу лабуха и кинулся его обнимать. — Земляк, стало быть! Так вот я тебе как своему человеку говорю: «Езжай ко мне в Светлый Яр! Я такие тебе трубы куплю, что губы на них свести будет боязно. У меня, — Гнездухина

явно несло, — все есть! И икра, и просто осетры в любом варианте, что балык, что ребра в сметане. А девки у нас!..

Они зашли в домишко, в котором жил Герка, и Кирилл Карпович продолжил:

— Особняк тебе построю! Вечный! В нем, ежели ты, не дай, конечно, Бог, похарчишься, музей твоего имени заделаем.

— Ну и брехун ты! — завосхищался Герка. — Думаешь, наш пред мне меньше обещал? А хоромы, вишь, из соломы?

— Но я не такой! Ежели на то пошло, в свой дом поселю! В председательский!

Он отник от смеющегося лабуха и спросил:

— Ну чего, земля, будешь думать или сразу согласишься?

— Ты вот чего скажи, — неожиданно обратился к нему Герка, — сколь на своем веку девок перепортил?

— Ни одной! — заученно, как на бюро, ответил пред.

— Не может быть! Уж больно ты красочно врешь да завлекаешь, тут у любой ноги бы в раскорячку пошли. А тебе я хочу сказать честно и благородно: не могу я в те края объявляться.

— По какой же причине-то?

— Да по простой. Я, как пишут в казенных документах, злостный неплательщик алиментов. Потому я туда — хоп, а меня там — цоп! За задницу и выше! И не столько подую я у вас, сколько попляшу. А тут все думают, что я постоялец-непостоялец. А у меня, веришь, грех сказать, как к бабе прикоснусь, так она в брюхатость кидается.

— Ну и сколько у тебя жен-то было? — участливо поинтересовался Гнездухин.

— Шесть, — не стал, видно, врать лабух.

— И у всех приплодок?

— Конечно! Потому я тут, «во глубине сибирских руд», и томлю свою душу.

Повздыхал Кирилл Карпович, даже пару раз охнул. Уж больно с мечтой расставаться было неохота. Красиво хотел обставить свою жизнь, весело. И вот — на же тебе!

— А можа... — начал было он, потом осек себя сам. — Да чего об этом мечтать? Шестеро даже не трое.

— Кого шестеро? — спросил лабух.

— Ну детей.

— Каких там шестеро? У меня у одной — трое, у трех — по двое. И только у двух по одному. Целый детсад. Говорю, как попритулось, так — лабца в капкане!

Он порылся в какой-то линиялой шкатулке и достал оттуда газетную вырезку.

— Оказывается, — произнес, — в многодетстве виновата не женщина, а мужчина.

И прочитал, что у одного крестьянина в прошлом веке от двух браков было восемьдесят три ребенка. У одной жены, которая почти что всякий раз приносила по четверне, от него зачалось шестьдесят девять детей.

— Вот, видимо, и я такой же, — с горечью заметил Герка. — Из той же породы. Бошка — в дрючок, а он — в сучок.

За бутылкой, которую лабух поставил на стол, погоревали оба. Герка, что приходится лытат от своего косоного десятка, а Гнездухин, что сколь он их ни шмурыгал, ни у одной ничего не завязалось. И Клавдия тоже в яловости взбрыкивает.

Вспомнил про жену, и ревность стала под хрешками поигрывать. Уж не попался ли ей такой же ухватистый, как лабух, матерец, который в его отсутствие заделает какого-нибудь красавца и будет потом улыбаться ему вдогон, когда увидит его со своим выводком. Потому его печать — это когда на бумаге одна чистота остается.

И, видимо, эта мысль и подторопила Гнездухина скорее воротиться домой, оставив, как он считал, до поры, мысль об оркестре.

— А капельмейстера, — пообещал Герка, — я тебе найду. Не равноценного мне, но вполне сносного. Потому покупай дудки и, как говорили в старину, вперед рулюй, а через плечо плюй!

Возвнулся Гнездухин домой, поехал в Волгоград, глянул на цены, в которых пребывали те самые «медные» трубы, и «жор» на нет у него сошел.

— Вот ежели бы шефов найти, чтобы оркестром одарили, — сказал он как-то на заседании правления. На что Алевтина Мяжникова сказала:

— Держи карман шире, чтобы мимо не проехали! Сейчас каждый норovit с колхоза урвать, вроде тут все несчитаное и немереное.

Но преда неожиданно поддержал главный бухгалтер.

— А вы знаете, — сказал. — Это мысль! Просто надо хорошо поработать в данном направлении.

И, выпроводив всех, Гнездухин с Чемодановым остались, как в правлении шутили, на служебный перешепт.

Чем он закончился, никто не знает. Только Кирилл Карпович вышел из своего кабинета таким довольным, словно не только привез из командировки трубы, но и захватил в придачу к ним и самого лытателя-лабуха.

2

Это дело в три листочка, один из которых фиговый, как сказал начмил Аверьян Максимович Курепин, вроде бы и не заслуживало того, чтобы в него как-либо углубляться. Деньги, украденные из колхоза, найдены, убыток, так сказать, возмещен. Вот только злоумышленник, конечно, гуляет на свободе и хоть и горюет, что не сумел попользоваться украденным, все же, видимо, ухмыляется, что не

милиция разыскала пропажу, а совсем, можно сказать, посторонний человек.

Но не это особо беспокоило юного следователя, на данный момент заменяющего начальника уголовного розыска, Ефима Моторыгу. Хотелось как можно в больших местах, как говорится, «нарисоваться», чтобы его запомнили в лицо и, коли сумеет себя правильно поставить, зауважали и стали называть по имени и отчеству.

Поэтому он не ослушания ради, а вроде бы пользы для не обратил внимания на то, что сказал начмил, а потихоньку растворил крышки папки и стал читать показания секретаря редакции Григория Фельда. Тот давал их высокопарным штилем. Например, даже такая была фраза: «Центр хранения массового заблуждения находится в милиции. Необщедоступная информация, которой вы пользуетесь, — залог процветания произвола настоящей опасности. Ваши обширные цитаты из классиков сыска двадцатых годов, так называемая «раскрутка», приводят к социальным и нравственным потерям, а уверование в собственную непогрешимость и плюс к ней назидательный тон порождают цветение бескультурья».

— Ну и арап! — нехорошо восхитился Моторыга, подсчитав, что на одной странице он использовал девять раз слово «социальный». Именно такой требовал он, чтобы была конкретность, ответственность, правда и даже греховность. Помимо этого проскочил «социальный кризис», «социальный опыт» и конечно же «социальный разлад».

«Морализм неуместен, как и неприемлем моментальный результат любой ценой, характеризующий туполобость», — было заявлено в конце.

Создавалось впечатление, что Фельд все время кому-то позировал, можно сильнее сказать, выводил следователя на политический диалог и тем самым отводил от той сути, ради которой был допрашиваем.

И поскольку эти словеса заняли в общей сложности сорок две страницы, значит, Фельд их писал не менее двух, а то и трех суток. И за это время деньги нашлись.

Потом — в газете — он напишет статью с таким не всем и не сразу понятным названием — «Выбросы жизни».

Моторыга отодвинул от себя эту белиберду и увлекся чтением невесть как на его столе оказавшемся письме с резолюцией: «Для сведения». И поскольку подписи под этой, по косине поставленной фразой не было, Ефим пытался по почерку определить, принадлежала она начальнику или нет.

А начиналось письмо с извечного у русских перечисления всех тех, кого адресат помнит и чтит, и кому шлет свои приветы и поклоны. И вдруг фраза:

«И именно пылкость ваших дум обо мне подбавляет огня в мое ожидание нескорого освобождения».

Далее автор письма давал советы житейской мудрости:

«И ишшо, решетом по голове малых не бей, ума не будет. И на безмене не важь, чтобы маловесными не остались. Умывай только водой проточной. Щели...»

— Что такое — «щели»? — вслух спросил самого себя Моторыга. И вновь упал взором в письмо: «Щели так, чтобы им вольготно дышалось».

И Ефиму вдруг подумалось, вот писал какой-то не очень грамотный человек, неведомо за что получивший срок, может, даже несправедливо. А ведь никакой злобы, никаких упреков, что кто-то во всем этом виноват, без яду, которым пышели письма Фельда.

Кончилось письмо так:

«Срок мой идет на убыль, так что годков через двадцать, даст Бог, свидимся и обо все поговорим в подробности.

За сим остаюсь твой верный муж и супруг Архипов Антип».

Чужой, быстрой на скоропись рукой было дописано: «Временно вырватый из тенет семьи зловредными пережитками капитализма».

Моторыга представил, как, читая это послание, вздыхали и мокрели глазами бабы, как старики — кто подергивал ус, кто подсмывивал бороду. А молодые колупали ногтями в затылке, повторяя фразу, выхваченную из середины письма: «Жить, стало быть, пережиток».

Моторыга поднялся из-за стола, подошел к окну и поглядел на то, что творилось на улице. Дождь, который с утра копошился в листве, не перестал в обыкновенном понимании этого явления, а иссяк. Сперва с крупных капель перешел на мелкие, а потом поплыл туманом, который в этих краях называют «мгичкой».

Под окном ребятишки-брызгуны с камышинками во рту, выцеливали себе кого-нибудь более важного и менее дотошного, чтобы не дошел до мысли проверить, почему они в это время не в школе.

Глянул Моторыга и на тот столб, на увершь которого одиноко висела лампочка под снулым абажурчиком, и если было ненастье, то именно по ней, из окна своей квартиры, Ефим видел, какая на улице погода. Снег там идет или дождь. И в том и в другом случае под лампочкой, словно опущенные веера, пестрили то снежинки, то дождевики.

Ефим вернулся мыслью опять сперва к письму неведомого ему Антипа Архипова, потом к хорошо знакомым словесным вывертам, тоже, по существу, незнамого Григория Фельда, и неожиданно подумал о себе. Не находил он в своей биографии чего-то связующего с прошлым. Отца он своего помнил чуть-чуть. Один раз тот мелькнул где-то на улице, и мать сказала, что это именно он, кого так ни разу и не удалось назвать «папой».

Не было у него ни дедушек, ни бабушек. По линии отца, естественно, потому, что тот с ними не жил, и оттого все прочие не роднились. А по материнской стезе они попомерли раньше, чем он родился.

Да и братьев и сестер у него тоже не было. Потому он завидовал всем, кто перечислял свою многочисленную родню и при случае мог навестить ее и быть там желанным и добрым гостем.

Моторыге ехать и идти было некуда. Потому, видимо, нелюдность надолго поселилась в его душе. Комфортнее всего чувствовал он себя наедине с самим собой.

Окончив юридический, он сперва хотел стать адвокатом. Даже был познаномен с тем, кто это мог запросто устроить. Но неожиданно им был встречен его нынешний начальник, у которого он проходил последнюю практику, и предложил должность следователя.

И Ефим, который перед этим только что определил для себя установку не говорить сразу определяющих слов «да» или «нет», заменив их общим полуобещанием: «Я подумаю» или: «Надо над вашим предложением поразмыслить», тут же поспешно согласился.

В первый же день он пошел не к Волге, которую уже знал, в степь, тарануло полопавшуюся от жары и тщетности, что новое утро начнется с прохлады приволья и дождевой сутеми, а опять встретит восход засидевшегося за горизонтом солнца с обреченной утомленностью невыспавшегося человека, и суховейный ветер дохнет, словно из духовки, и сухо запахнет нестволглою за ночь полынью.

В ту ночь в Светлом почему-то не было того самого света, то есть электричества. Ефим встал при лампе, взял ее в руки, убавил огонь, чтобы не коптила и, не шаря, поставил на припечку. И заметил, что мыши пообгрызли, а то и съели вовсе припасенные им продукты. И это опустошительство пережить уже не было сил, и к вечеру в его доме разгуливал кот по кличке Лунатик.

Лунатик был цвета бело-желтого и действительно чем-то напоминал бок чуть подшербленной луны.

С девками Моторыга сходилась трудно. Вернее, он ими интересовался поскольку-постольку. Так, кажется, говорили о равнодушных к женскому полу молодых людях в прошлом веке.

Нет, с одной было он чуть не сошелся надолго и всерьез. А случилось это так неожиданно и почти нелепо, что потом воспоминания обо всем этом вызывали улыбку или снисходительное посмеивание.

Шел он как-то по улице, и к нему подбежала стайка девчонущек.

— Дядя! — крикнула одна из них. — У нас котенок убежал.

— Куда? — на всякий случай спросил он, хотя времени у него было мало, чтобы заниматься детскими проблемами.

— Вон в эти джунгли! — указала девочка на пустырь.

И Ефиму стало смешно. И, видимо, на той самой веселости он преодолел оранжевые подпалыны, что стелились по всей пустоши. Раньше тут, по всему видно, было кладбище, потом свалка, а теперь обрисовывалось строительство нового дома. Но тоже настолько запозилевшее, что, наверно, рабочие последний раз пили тут водку еще до перестройки.

Котенка он отловил именно в дебрях лебеды, что росла на фундаменте. Он испуганно мяукал, и в его глазу плавала телевышка зрочка.

И когда Моторыга вышел на дорогу, где его поджидали девчонки, то заметил, что именно телевышкой над ними возвышалась девица, которая с любопытством разглядывала его, словно он явился не из дебрей пустыря, которого тут называют «джунглями», а по крайней мере с того света.

— Здравствуйте, — сказала она и, протянув руку, попыталась представиться: — Меня зовут...

— Вы меня извините, — произнес Ефим. — Но я страшно спешу! У меня...

— Свиданье? — весело спросила она, поймав прядь волос, которая пыталась упасть ей на глаза.

— В общем-то, да, — начал мямлить он. — Но скорее нет.

— Очень интересно! — заиграла глазами девушка. — Ну бежите, а то поздно будет.

— В каком смысле?

— Да в простом. Приворожу.

— Нет, вы зря смеетесь. У меня зачет...

— О! — Она обратилась к девчонкам: — Дядя-то примерный студент. А вы его за котенком посылали. А зачет у вас, случаем, не по физре?

Моторыга кивнул.

— Угадали!

— Ну тогда — бегом!

И он до сих пор не знает, что его дернуло вернуться. Вот так — плюнуть на зачет и подойти к этой одиноко теперь стоящей девушке, насмешливо глядящей ему вслед.

— Так как вас зовут? — заполошно спросил он.

— Условно говоря, Варя, — ответила она.

— А почему — условно?

— Потому что имя у меня совсем другое.

— И им вы собирались представиться давеча?

— Конечно.

— А теперь?

— А сейчас передумала. Не могу же я правду говорить человеку, который — на лету — мне соврал.

— Как это?

— Естественно и со знаком качества!

— Значит, я вам кажусь лжецом?

— Нет, пока что просто обманщиком.

— Значит, вы не верите, что у меня зачет?

— Почему же? Только принимаю его почему-то я.

И он опять вознамерился кинуться бежать. На этот раз просто от нее. Потому что не выносил, когда над ним — вот так откровенно — смеялись.

Он вынул свою зачетку и приблизил к ее лицу.

— Смотрите! — сказал.

— Зачем? — спросила она.

— Чтоб знали!

— А лишние знания, как я давно поняла, вредят.

— И поэтому...

— Совершенно верно, не стала студенткой.

И уже через пять минут он знал, что зовут ее не Варя, а Валя, что у нее двое детей и муж, с которым она не живет. И еще — молва.

— И какая же? — полюбопытствовал он.

— Всякая. Но больше та, которой опасаются все, кто хоть сколько-то блюдет свою честь.

— А вы?

— Я ее не блюду.

Потом был поцелуй. Вернее, извержение какого-то пагубного чувства. Словно губ не существовало, была мешанина зубов. От такого поцелуя не шалеют. От него потихоньку отплеваются или — опять же незаметно — спускают слюни в носовой платок.

В тот день дети ее гостили у бабушки за Волгой, и она была одна.

Потому они и не заметили, как луна подплывала под самое окно. И не слышали, как с серой подкладкой лист, усохнув до съезженности, громко шуршал, гоняемый по крыльцу ветром.

Потом было утро. Раскрытые дверцы старинного сооружения для одежды и посуды. Как оно называлось, Валя не знала. И опять она его целовала. Целовала спеша, неловко и неумело, как пытается красть еще не набравшийся опыта вор.

Ветра уже не было, но дыхание утра упругило занавеску, и она то приникала, то отникала от окна. Он посмотрел на все еще лежащую Валу. Увидел, как солнечный лучик пощекотал ей щеку, и пятнышко тени, что застило глаза, вдруг уступило его желтому упорству, и свет размежил ей глаза.

— Уходишь? — спросила она на зевоте. И ему стало обидно, что поцелуи, которыми она только что его осыпала, ею уже забыты. Они остались в ее прошлом. В том самом, какое бывает, как она давеча сказала, всяким.

Но Валя быстро вскочила, и ее круглый голос, как шар, покатился где-то в глубине комнат. Она хотела его покормить.

Но он ушел без завтрака, напоследок хрустнув тем самым усохшим листом, что целую ночь шуршал на крыльце.

Спустился в овраг, что вел к Мамаеву кургану. Там жирно пахло землей. Усталостью разламывало тело. Потому как почти целую ночь он изомлевал от духоты, что была в доме, несмотря на открытое, доступное ветру окно.

Какая-то женщина на дне оврага, видимо, окорачивала бег лошади.

— Тру-ру-р-у! — брызгались губы прохладным звуком.

Но продолжение мысли не приходило, потому как он заметил вишнюю клейкость и припал к ней губами. И увидел, как, после того как отник от ветки, на ней возникла точно такая, как у человека, послерановая кожа, которой затянулся надрез, и была она натянута молодая, и казалось, если ее колупнуть ногтем, она непременно закровит.

И он — колупнул. И она — не закровила. А только показала розоватую белесость оголенного от коры ствола.

А потом был тот день, который он вспоминает с горечью и с улыбкой. И предшествовало ему легкое, наверно, все же наркотическое, привыкание. Сперва он привык к Вале, потом к ее мальчишкам, наконец к дому, в котором они обитали. Да и к оврагу, через какой ожидательно пробирался к ее двору тоже. Почему ожидательно? Да потому как боялся, что вот-вот встретится с кем-либо, кто бывает у нее помимо него. Но никто не встречался, и мысль мало-помалу, как вожжа с крупа лошади, съехала с его сознания, и осталось только тревожное предчувствие, которое он всегда забивал песней. Не очень громкой, но такой, чтобы заняла собой сознание и не пустило в него ничего из того, что рождает сомнения или еще какое-то, сходное ему чувство.

А потом ему неожиданно повезло побывать за границей. В Германии, только в Демократической. Был какой-то — летучий — обмен студентами. И именно там он по-настоящему затосковал по Вале. По роскошеству ее тела. По уюности ее голоса. По...

Словом, он торопил время, чтобы оно скорее вернуло его в Волгоград. Потому и многое казалось ему там не так. Например, пупырчатая газировка явно отдавала керосином. Или яркоглазые зверьки, которые, затаившись, не могли скрыться из-за этого блеска глаз и потому казались искусственно насажденные в эти кусты, чтобы хотя бы этим оживить их.

Правда, один раз, призвав себе на помощь деланную бесшабашность, он во время пикника на природе внедрил в кружок, даже пошел с незнакомыми девками, но пить не стал, ушел.

И набрел еще на одну компашку. Там главенствовал бородастик-волосатик, который заученно, как профессор, уверял:

— Гениальность художника в том, что все его открытия близко лежат. Они в сфере понимания и восприятия любого человека. Но первыми замечены им, а не каждым и всяким. Вернее, даже не замечены. Он первым остановил на них внимание. А сам воспринял это все естественно, как и подобает зорковидцу.

Тогда Ефим еще считал, что излишняя умность плешивит голову и съедает молодость. Юноша, думалось ему, должен быть чуть-чуть дубоват и если доступен, то так же условно, как поблескивание утопанных в гравии снежинок.

И вот, бродя в том леске, он не пытался опознать звуки, которые его окружали. Все равно они были чужими и по большей части совсем незнакомыми. Эткими напыщенными, что ли. Только птицы верещали совсем по-нашенскому.

Он подошел к топольку-подгонку, который дрожал на ветру своей белесой листвой, и именно в его жидкую крону уюркнул шустроклювый скворец. Но узловатые корни, удавами выползшие на поверхность земли, явно принадлежали не ему. Они изломили пролежавшую рядом тропку, и она откачнулась от них к угорбью холма. А чуть ниже в неглубокой, схваченной прозрачным трепетом воде, глазастро виднелись не успевшие отускнеть монеты.

А потом — уже в городе — была обольстительная роскошь, музыка, вернее, музыкальный винегрет, и рваный, словно раненый, свет дискотеки. А на улице, погружая в ранние огни местность, главенствовал вечер, в котором сами по себе жили переимчивые шепоты и шелесты. И был он как человек, неведающий, что ждет его впереди. Потому выставлял ориентиры — столбы, на увёршьях которых горели огни. И уже сам их вид жалобил сердце. И слеза, казалось, тяжела глазу.

Он всматривался вдаль, где огни, потопляемые пространством, росисто мерцавшие последней гранью видимости, как бы подсказывали, что именно там родина, Россия, роскошество ничем не скованного простора, необозримость, бездонность, наконец, как оказалось, такая милая душе бесшабашность.

И на второй день они поехали именно туда, в сторону гор с поволокой, сквозь которую, в поисках распадков, чешуйчато ярчели наборные ремни высотных ручьев.

Горы миновали, им на смену пришли лесистые, с пологими отлогами холмы, которые, как показалось, тоже неожиданно, уступили место иностранной, словно меченной особым блеском, луне. И теперь, когда поезд поворачивал и луна закатывалась за спину, в купе становилось мрачно, как в склепе.

А потом была родина. И первым, кого с милым восторгом увидел Ефим, был старик, который подкучивал картошку и вырывал все, что считал сорняками. Потому под его веселую, русскую, вернее, украинскую руку вполне могли попасть и горох, и фасоль, и даже капуста.

А рядом с ним разрыхляла грядки женщина, точнее, баба, и старыми граблями без черенка дырила землю, чтобы засыпать туда семена редиски или морквы.

А в купе пели невесть откуда подхваченную песню, из которой Моторыга запомнил только одну фразу:

Здесь мы любовь водили под узды.

И становилось смешно представить себе любовь в образе пусть даже самой красивой в мире, но лошади.

И еще одно заметил Ефим, напущенная было важность, с которой русские девчата пребывали за границей, теперь пропала; к губам то и дело, выпучивая их, подходил смех, и глаза лукаво косили, и становилось уютно, как зимой на прогреве солнца.

И угрюмый всю поездку профессор, который их сопровождал, теперь тихо улыбался у окна. И понимал, что они были порознь молодыми: когда пылала его юность, эти девки еще не родились. Может, они были той травкой, которую когда полешь, кажется, совершенно не убывает, особенно после росы тут же выстреливая своим длинным плосколистьем.

Поезд, как по заказу, остановился в Волгограде на разъезде, который в обиходе зовут Второй верстой, и Ефим, помахав тем, с кем «озаграничился», как кто-то пошутил, направился не яром, как это делал всегда, а улицей, чтобы все видели, что в петлице у него цветок, а в душе намерения сегодня же, сейчас, сию минуту предложить Вале стать ее мужем. Он никогда не думал, что так способен скучать.

Моторыга шел и улыбался, и тот, кто мог его ненароком увидеть, обязательно посчитал бы, что парень малость сошел с рассудка. И первым, видимо, это осознал знакомый, сроду на него не лаявший кобелек. Сейчас он кидался на Ефима.

А потом была старуха, соседка Вали.

— Здравствуй! — сказала она, как на солнце, щеля на него свои выцветшие глаза. — Ты со свадьбы, что ли? — спросила.

— Наоборот, — словоохотливо ответил Ефим. — На свадьбу!

— Ежели к Валентине, — упредила она, — то опоздал.

— Как это? — вырвалось у него.

— Муж к ней возвернулся.

Он молча выдернул цветок из петлицы и, не ведая зачем, растоптал. Будто именно тот был виной того, что случилось или произошло. И тогда свернул в яр. Ринулся к той самой вишенке, с ветки которой когда-то обобрал губами чуть сладковатый молодой клей. Именно он сейчас мог слепить губы, чтобы они не выплеснули стон, скопившийся в душе.

И вишенку он увидел. Только поверженной, словно убитой грозой. С недоразвитыми, не набравшими и половины своей полноты плодами. Она лежала в пыли, уже усохнув листьями.

Ефим отломил кусочек коры от комля и пожевал. Она — горчила, и, кажется, именно этим напомнила, что только обжигающая горечь может вернуть ему его разом сгасшее существование.

И он, выбравшись из оврага, пошел к знаменитым у всех пьяниц пивным «На песках», где и окончил тот так весело складывающийся для него день. Окончил грубо и дерзко, подзаборно уестествив

какую-то грязную девку, которая упорно твердила ему, что любит его до ужаса.

Моторыга, как раненый волк, оскалась и зализывая кровь, выполз из своих воспоминаний, подошел к столу и вызвал рассыльного:

— Оповестите, чтобы ко мне пришел Фельд Григорий Григорьевич.

— Тот самый? — спросил рассыльный.

— Нет, этот! — жестко произнес Моторыга и чуть прикаменел скулами, передавая повестку.

3

Фельд никогда не думал, что так сладко быть у всех на виду. Раньше он сидел в своем прокуренном до помрачения стен и потолка кабинетике, рисовал свои корявые макеты, ругался с метранпажем и наборщиками, подтыривал журналистов, упустивших поставить там где надо запяточку, и никогда не думал, что есть на свете какая-то там более высокая или, наоборот, низкая несправедливость.

Гонорар он размечал правильно, с редактором не ссорился, с пьянством находился в суровом разводе, и единственным его грехопадением была Фроська Мамонова, к которой он хаживал не за тем, чтобы сбыть свою мужскую томь и вообще как-то весело и бесшабашно провести время, а исключительно ради длинных, не ограниченных ни временем, ни тем паче темами бесед. Уж чего-чего, а поговорить Гриша умел. Причем речь его настолько пестрила дремучей газетчиной, что порой вяли не только уши, но и лопухи, что росли у крыльца его возлюбленной, ежели она, конечно, в его восприятии таковой была, Фроськи.

В кабинет Моторыги Фельд влетел так, что вроде за этим порогом оборвал погоню мчащихся за ним убийц.

— Садитесь! — пригласил его Ефим.

— После быстрой ходьбы, — поназидал тот, — надо какое-то время постоять, чтобы кровообращение вошло в свои берега. Вот так, теперь я сяду. Так что у вас за вопросы ко мне вдруг объявились?

— У нас ничего «вдруг» не бывает, — в свою очередь поназидал Моторыга. — Ваше дело еще не закрыто, и нужны будут некоторые уточнения, чтобы стало до конца ясно, кому нужно было украсть деньги и...

— Тут все ясно! — вскричал Гриша. — Социальное прошлое висит над каждым, кто имеет доступ, извините, к тугрикам, без которых, как бы мы ни прыгали, человечеству пока не обойтись, потому кто-то, явно знавший мои связи, извините, с Ефросиньей Никитичной, решил под мою голову совершить самую кражу.

— Мамонова приносила когда-либо деньги домой? — вдруг спросил Моторыга.

— Вы на что намекаете?